

# Дублинцы

**Автор:**

Джеймс Джойс

Дублинцы

Джеймс Джойс

Эксклюзивная классика (АСТ)

Первый в истории европейской литературы сборник рассказов, объединенных темой, по выражению самого автора, «паралича» личности и смерти души в консервативной и отсталой ирландской столице начала XX века.

В нем работа и домашняя жизнь, будни и праздники обитателей Дублина – мрачного города, за кирпичными фасадами которого буднично и повседневно происходят убийства и самоубийства человеческих душ.

Добропорядочные представители среднего класса и бедняки, политики и пьяницы, буржуа и «творческая интеллигенция», священники и миряне, мужчины и женщины. Все они, в сущности, неплохие люди, но всем им Джойс беспощадно выносит приговор: они мертвы. Возможно, уцелеть удастся лишь детям и подросткам, еще способным мыслить и чувствовать, страдать и сострадать...

Джеймс Джойс

Дублинцы

© Перевод. М. Богословская, наследники, 2023

© Перевод. Н. Волжина, наследники, 2023

© Перевод. Н. Дарузес, наследники, 2023

© Перевод. И. Дороница, 2022

© Перевод. В. Топер, наследники, 2023

© Перевод. О. Холмская, наследники, 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Сестры[1 - Перевод М. Богословской-Бобровой.]

На этот раз не было никакой надежды: это был третий удар. Каждый вечер я проходил мимо дома (это было время каникул) и разглядывал освещенный квадрат окна; и каждый вечер я находил его освещенным по-прежнему, ровно и тускло. Если бы он умер, думал я, мне было бы видно отражение свечей на темной шторе, потому что я знал, что две свечи должны быть зажжены у изголовья покойника. Он часто говорил мне: «Недолго мне осталось жить на этом свете», и его слова казались мне пустыми. Теперь я знал, что это была правда. Каждый вечер, глядя в окно, я произносил про себя, тихо, слово «паралич». Оно всегда звучало странно в моих ушах, как слово «гномон» у Евклида и слово «симония» в катехизисе. Но теперь оно звучало для меня как имя какого-то порочного и злого существа. Оно вызывало во мне ужас, и в то же время я стремился приблизиться к нему и посмотреть вблизи на его смертоносную работу.

Старик Коттер сидел у огня и курил, когда я сошел к ужину. Когда тетя клала мне кашу, он вдруг сказал, словно возвращаясь к прерванному разговору:

– Да нет, я бы не сказал, что он был, как говорится... Но что-то с ним было неладно... Странно, что он... Я вам скажу мое мнение...

Он запыхтел трубкой, будто собираясь с мыслями. Скучный, старый болван!

Когда мы только познакомились с ним, он все-таки казался интересней, рассказывал нам о разных способах перегонки, но очень скоро надоел мне этими бесконечными разговорами о винокурении.

- У меня, видите ли, своя теория, - сказал он. - По-моему, это один из тех исключительных случаев... но, впрочем, трудно сказать...

Он опять запыхтел трубкой, так и не поделившись с нами своей теорией. Тут дядя заметил мои удивленные глаза.

- Печальная новость, - сказал он, - скончался твой старый друг.

- Кто? - спросил я.

- Отец Флинн.

- Он умер?

- Да вот мистер Коттер только что рассказал нам об этом. Он проходил мимо дома.

Я знал, что за мной наблюдают, а поэтому продолжал есть, как будто это известие совсем не интересовало меня. Дядя пояснил Коттеру:

- Они с мальчишкой были большие друзья, старик многому научил его; говорят, он был очень привязан к нему.

- Царство ему небесное, - сказала тетя набожно.

Старик Коттер присматривался ко мне некоторое время. Я чувствовал, что его черные, как бусины, глаза пытливно впиваются в меня, но я решил не удовлетворять его любопытства и не отрывал глаз от тарелки. Он опять занялся своей трубкой и наконец решительно сплюнул в камин.

- Я бы не допустил, - сказал он, - чтобы мои дети водились с таким человеком.

– Что вы хотите сказать, мистер Коттер? – спросила тетя.

– Я хочу сказать, – пояснил Коттер, – что это вредно для детей. Мальчик должен бегать и играть с мальчиками своего возраста, а не... Верно я говорю, Джек?

– И я так думаю, – сказал дядя. – Вот и этому розенкрейцеру я всегда говорю: делай гимнастику, двигайся, да что там – когда я был таким сорванцом, как он, зиму и лето первым делом, как встанешь, холодной водой... Теперь-то вот я и держусь. Образование – все это очень хорошо и полезно, но... Может быть, мистер Коттер скушает кусочек баранины, – заметил он тете.

– Нет, нет, пожалуйста, не беспокойтесь, – сказал Коттер.

Тетя принесла из кладовки блюдо и поставила его на стол.

– Но почему же вы думаете, мистер Коттер, что это нехорошо для детей? – спросила она.

– Это вредно для детей, – ответил Коттер, – потому что детские умы такие впечатлительные. Когда ребенок видит такое, вы что думаете, это на него не влияет?

Я набил полон рот овсянки, чтобы как-нибудь нечаянно не выдать своей злобы. Скучный, старый, красноносый дурак!

Я поздно заснул в эту ночь. Хотя я был сердит на Коттера за то, что он назвал меня ребенком, я ломал голову, стараясь понять смысл его отрывочных фраз. В темноте моей комнаты мне казалось – я снова вижу неподвижное серое лицо паралитика. Я натягивал одеяло на голову и старался думать о Рождестве. Но серое лицо неотступно следовало за мной. Оно шептало, и я понял, что оно хочет покаяться в чем-то. Я чувствовал, что я погружаюсь в какой-то греховный и сладостный мир, и там опять было лицо, сторожившее меня. Оно начало исповедоваться мне тихим шепотом, и я не мог понять, почему оно непрерывно улыбается и почему губы его так влажны от слюны. Потом я вспомнил, что он умер от паралича, и почувствовал, что я тоже улыбаюсь, робко, как бы отпуская ему страшный грех.

На следующее утро после завтрака я пошел взглянуть на маленький домик на Грэйт-Бритен-стрит. Это была невзрачного вида лавка с выцветшей вывеской «Галантерея». В основном там продавали разные зонты и детскую обувь. В обычное время на окне висело объявление – «Перетяжка зонтов». Сегодня его не было видно: ставни были закрыты. Дверной молоток обвязан крепом. Две бедно одетые женщины и рассыльный с телеграфа читали карточку, пришпиленную к крепу. Я тоже подошел и прочел:

1 июля 1895 года.

Преподобный Джеймс Флинн

(бывший священник церкви

Св. Екатерины на Мит-стрит)

65 лет.

R. I. P.[2 - Да покоится в мире (лат.).]

Чтение карточки убедило меня в том, что он умер, и я растерялся, наконец поняв случившееся. Если бы он не умер, я вошел бы в маленькую комнату за лавкой и увидел бы его сидящим в кресле у камина, закутанным в пальто. Может быть, тетя прислала бы ему со мной пачку «Отборного» и этот подарок вывел бы его из оцепенелой спячки. Обычно я сам пересыпал табак в его черную табакерку, потому что руки у него слишком дрожали и он не мог проделать этого, не рассыпав половину на пол. Даже когда он подносил свою большую трясущуюся руку к носу, крошки табака сыпались у него между пальцами на одежду. Из-за этого вечно сыплющегося табака его старая священническая ряса приобрела зеленовато-блеклый оттенок, и даже красного носового платка, которым он смахивал осевшие крошки, не хватало – так он чернел за неделю.

Мне хотелось войти и посмотреть на него, но я не решался постучать. Я медленно пошел по солнечной стороне улицы, читая на ходу все театральные афиши в витринах магазинов. Мне казалось странным, что ни я, ни самый день не были в трауре, и я даже почувствовал неловкость, когда вдруг ощутил себя

свободным, – как будто его смерть освободила меня от чего-то. Меня это удивило, потому что в самом деле, как сказал дядя накануне вечером, он многому научил меня. Он окончил Ирландский колледж в Риме и научил меня правильно читать по-латыни. Он рассказывал мне о катакомбах, о Наполеоне Бонапарте, он объяснял мне значение различных обрядов мессы и различных облачений священника. Ему доставляло удовольствие задавать мне трудные вопросы, спрашивать, как поступать в тех или иных случаях, или выяснять, считаются ли те или другие грехи смертными, разрешимыми или просто прегрешениями. Его вопросы открывали мне, как сложны и таинственны те установления церкви, которые я всегда считал самыми простыми обрядами. Обязанности священника в отношении евхаристии и тайны исповеди казались мне такими важными, что я поражался, как у кого-нибудь может хватить мужества принять их на себя, и я несколько не был удивлен, когда он рассказал мне, что отцы церкви написали книги толщиной с почтовые справочники, напечатанные таким же мелким шрифтом, как объявления о судебных процессах в газетах, для разъяснения всех этих запутанных вопросов. Часто я не мог дать ему никакого ответа или отвечал, путаясь, какую-нибудь глупость, он же улыбался и кивал головой. Иногда он проверял мое знание ответов во время мессы, которые заставлял меня выучивать наизусть, и, если я сбивался, опять кивал и задумчиво улыбался, время от времени засовывая щепотку табака по очереди в каждую ноздрю. Улыбаясь, он обнажал свои большие желтые зубы, и язык его ложился на нижнюю губу – привычка, от которой я чувствовал себя неловко в первое время нашего знакомства, пока не узнал его ближе.

Шагая по солнечной стороне, я вспоминал слова Коттера и старался припомнить, что случилось после, во сне. Я вспомнил – бархатные занавеси, висячая лампа старинной формы. Я был где-то далеко, в какой-то стране с незнакомыми обычаями – может быть, в Персии... Но я не мог вспомнить конец сна.

Вечером тетя взяла меня с собой в дом покойного. Солнце уже зашло, но оконные стекла домов, обращенные к западу, отражали багряное золото длинной гряды облаков. Нэнни встретила нас в передней. Ей надо было кричать, а это было неуместно, и потому тетя молча поздоровалась с ней за руку. Старуха вопросительно указала рукой вверх и, когда тетя кивнула, повела нас по узенькой лестнице, и ее опущенная голова оказалась на одном уровне с перилами. На площадке она остановилась, приглашая нас жестом войти в комнату покойного. Тетя вошла, но старуха, видя, что я остановился в нерешительности, снова несколько раз поманила меня рукой.

Я вошел на цыпочках. Комнату заливал закатный солнечный свет, проникавший сквозь кружевные края занавески, и свечи в нем были похожи на тонкие бледные язычки пламени. Он лежал в гробу. Нэнни подала пример, и мы все трое опустили на колени в ногах покойника. Я делал вид, что молюсь, но не мог сосредоточиться: бормотанье старухи отвлекало меня. Я заметил, что юбка у нее на спине застегнута криво, а подошвы ее суконных башмаков совсем стоптаны на один бок. Мне вдруг почудилось, что старый священник улыбается, лежа в гробу.

Но нет. Когда мы поднялись и подошли к изголовью кровати, я увидел, что он не улыбается. Важный и торжественный, лежал он, одетый как для богослужения, и в вялых больших пальцах косо стояла чаша. Его лицо было очень грозно: серое, громадное, с зияющими черными ноздрями, обросшее скудной седой щетиной. Тяжелый запах стоял в комнате – цветы.

Мы перекрестились и вышли. В маленькой комнате внизу Элайза торжественно сидела в его кресле. Я пробрался к моему обычному месту в углу, а Нэнни подошла к буфету и достала графин с вином и несколько рюмок. Она поставила все это на стол и предложила нам выпить по рюмке вина, затем по знаку сестры она налила вино в рюмки и передала их нам. Она предложила мне еще сливочных сухарей, но я отказался, потому что думал, что буду слишком громко хрустеть. Она как будто огорчилась моим отказом, молча прошла к дивану и села позади кресла сестры. Никто не произнес ни слова: мы все смотрели в пустой камин.

Элайза вздохнула, и тогда тетя сказала:

– Он теперь в лучшем мире!

Элайза еще раз вздохнула и наклонила голову, как бы соглашаясь с ней. Тетя повертела рюмку с вином, прежде чем отпить глоток.

– А как он... мирно? – спросила она.

– Очень мирно, – ответила Элайза. – И сказать было нельзя, когда он испустил дух. Хорошая была смерть, хвала Господу.

– Ну, а?..

- Отец О'Рурк был у него во вторник, соборовал и причастил его.

- Так, значит, он знал?..

- Да, он умер в мире.

- И вид у него примиренный, - сказала тетя.

- Вот и женщина, которая приходила обмыть его, тоже так сказала. Он, сказала она, как будто уснул, и лицо у него такое покойное, мирное. Никто бы ведь и не подумал, что он в гробу будет так хорош.

- И правда, - промолвила тетя.

Она отпила еще глоток из своей рюмки и сказала:

- Ну, мисс Флинн, для вас должно быть большое утешение в том, что вы делали для него все, что могли. Вы обе очень заботились о нем.

Элайза расправила платье на коленях.

- Бедный наш Джеймс, - сказала она, - Бог видит, мы делали для него все, что могли. Как ни трудно нам было, мы ни в чем не давали ему терпеть нужду.

Нэнни прислонилась головой к диванной подушке, казалось, она вот-вот заснет.

- Да и Нэнни, бедняжка, - сказала Элайза, взглянув на нее, - измаялась вконец. Все ведь пришлось делать самим - и женщину найти, чтобы обмыть, убраться и положить на стол, и заказать мессу в церкви. Если бы не отец О'Рурк, уж и не знаю, как бы справились. Он вот и цветы прислал, и два подсвечника из церкви, и объявление во «Фримен джорнел» дал, и взял на себя все устроить на кладбище и насчет страховки бедного Джеймса.

- Вот и молодец, - сказала тетя.

Элайза закрыла глаза и медленно покачала головой.



– Да уж, старый друг – это верный друг, – сказала она, – а ведь если правду сказать, какие друзья у покойника?

– Что правда, то правда, – сказала тетя. – Вот он теперь на том свете и помянет вас за все, что вы для него сделали.

– Ах, бедный Джеймс, – повторила Элайза. – Не так уж много было с ним и хлопот. И слышно-то его в доме было не больше, чем сейчас. Ведь хоть и знаешь, что ему...

– Да, теперь, когда все кончилось, вам будет не доставать его, – сказала тетя.

– Я знаю, – сказала Элайза. – Никогда уж не придется мне больше приносить ему крепкий бульон и вам, мэм, присылать ему табачок. Бедный Джеймс!

Она замолчала, словно погрузившись в прошедшее, потом серьезно сказала:

– Последнее время я видела, что с ним что-то неладное творится. Как ни принесу ему суп, все вижу – молитвенник на полу, а сам он лежит в кресле откинувшись, и рот у него открыт.

Она потерла нос, нахмурилась, потом продолжала:

– Он все говорил, вот бы, пока лето не кончилось, в Айриштаун съездить на денек, на наш старый дом посмотреть, где мы родились, и меня хотел взять с собой, и Нэнни. Вот только бы удалось достать недорого у Джонни Раша, здесь неподалеку, одну из этих новомодных колясок без шума – отец О’Рурк ему говорил, есть нынче с особенными какими-то ревматическими колесами, – и поехать всем втроем в воскресенье под вечер... Крепко это ему в голову засело... Бедный Джеймс!

– Упокой, Господи, его душу, – сказала тетя.

Элайза достала носовой платок и вытерла глаза. Потом она положила его обратно в карман и некоторое время молча смотрела в пустой камин.

– А уж какой он был щепетильный, – сказала она. – Не под силу ему был церковный сан, да и в жизни-то ему, тоже сказать, выпал тяжелый крест.

– Да, – сказала тетя, – отчаявшийся был человек. Это было видно по нему.

Молчание наступило в маленькой комнате, и, воспользовавшись им, я подошел к столу, отпил глоток из своей рюмки и тихо вернулся на свое место в углу. Элайза, казалось, погрузилась в глубокое забытие. Мы почтительно ждали, когда она нарушит молчание; после долгой паузы она заговорила медленно:

– Это все чаша, что он тогда разбил... С этого все и началось, конечно, говорили, что это не беда, что в ней ничего не было. Но все равно... говорили, будто бы виноват служка. Но бедный Джеймс стал такой нервный, упокой, Господи, его душу!

– Так разве от этого? – спросила тетя. – Я слышала, будто...

Элайза кивнула.

– От этого у него и разум помутился, – сказала она. – После этого он и задумываться начал, и не разговаривал ни с кем, все один бродил. Как-то раз вечером пришли за ним на потребу звать, но нигде не могли его найти. Уж и где они его только не искали, и туда и сюда ходили – пропал, и следа нет. Вот тогда причетник и посоветовал посмотреть в церкви. Взяли они ключи, отперли церковь, и причетник, и отец О’Рурк, и еще другой священник с ними был, все с огнем пошли, поискать – не там ли. Ну и что же вы думаете, там и был – сидит один-одинешенек в темноте у себя в исповедалне, устался в одну точку и будто смеется сам с собой.

Она внезапно остановилась, как бы прислушиваясь. Я тоже прислушался: ни звука в доме, я знал, что старый священник тихо лежит себе в гробу такой, каким мы его видели, – торжественный и грозный в смерти, с пустой чашей на груди.

Элайза повторила:

– Уставился в одну точку и будто смеется сам с собой... Ну тогда, конечно, как они его увидели, так уж и догадались, что неладно что-то...

Встреча[3 - Перевод И. Романовича.]

С Диким Западом нас познакомил Джо Диллон. У него была маленькая библиотечка, составленная из старых номеров «Флага Британии», «Отваги» и «Дешевой библиотеки приключений». Каждый вечер после школы мы встречались у него на дворе и играли в индейцев. Он со своим младшим братом Лео, толстым ленивцем, защищал чердак над конюшней, который мы штурмовали; или у нас разыгрывался кровопролитный бой на лужайке. Но как мы ни старались, нам никогда не удавалось одержать верх в осаде или в бою, и все наши схватки кончались победной пляской Джо Диллона. Его родители каждое утро ходили к ранней мессе в церковь на Гардинер-стрит, и в передней их дома господствовал мирный запах миссис Диллон. Но мы были моложе и боязливей его, и нам казалось, что он предается игре слишком неистово. Он и в самом деле походил на индейца, когда носился по саду, нахлобучив на голову старую грелку для чайника, бил кулаком по жестянке и вопил:

– Йа, яка, яка, яка!

Никто не хотел верить, когда узнали, что он решил стать священником. Между тем это была правда.

Дух непослушания распространялся среди нас, и под его влиянием сглаживались различия в культуре и в наклонностях. Мы составляли шайки – одни с жаром, другие в шутку, третьи почти со страхом; к числу последних, колеблющихся индейцев, которые боялись показаться зубрилами и неженками, принадлежал и я. Приключения, о которых рассказывалось в книгах о Диком Западе, ничего не говорили моему сердцу, но они по крайней мере позволяли мне мечтой унести себя подальше от этой жизни. Мне больше нравились американские повести о сыщиках, где время от времени появлялись своевольные и бесстрашные красавицы. Хотя в этих повестях не было ничего дурного и хотя они не лишены были претензий на литературность, школьники передавали их друг другу тайком. Однажды, когда отец Батлер спрашивал урок, четыре страницы из истории Рима, растяпа Лео Диллон попался с номером

«Библиотеки приключений».

– Какая страница, эта? Эта страница? Ну-ка, Диллон, встаньте! «Едва забрезжил рассвет того дня...» Ну, продолжайте! Какого дня? «Едва забрезжил рассвет того дня, когда...» Вы это выучили? Что у вас там в кармане?

У всех замерло сердце, когда Лео Диллон протянул книжку, и все сделали невинное лицо. Отец Батлер, хмурясь, перелистал ее.

– Что это за ерунда? – сказал он. – «Предводитель апачей!» Так вот что вы читаете, вместо того чтобы учить историю Рима? Чтобы подобная гадость больше не попадалась мне на глаза в нашем колледже! Ее написал какой-нибудь гадкий человек, который пишет такие вещи, чтобы заработать себе на вино. Удивляюсь, что такие интеллигентные мальчики читают подобный хлам. Будь вы мальчиками... из Национальной школы. Знаете, Диллон, я вам серьезно советую приналечь на занятия, иначе...

Этот выговор заметно отрезвил меня, охладил мой энтузиазм к Дикому Западу, а смущенное пухлое лицо Лео Диллона пробудило во мне совесть. Но вдали от школы я снова уносился далеко в мечтах, которые, казалось, могли дать мне только эти повести вольной жизни. Вечерняя игра в войну стала для меня такой же утомительной, как утренние часы в школе: в глубине души я мечтал о настоящих приключениях. Но настоящих приключений, думал я, не бывает у людей, которые сидят дома: их нужно искать вдали от родины.

Уже приближались летние каникулы, когда я решил хотя бы на один день нарушить однообразие школьной жизни. Я сговорился с Лео Диллоном и с одним мальчиком по фамилии Мэхони, что мы прогуляем школу. Каждый из нас скопил по шесть пенсов. Мы должны были встретиться в десять часов утра на мосту через Королевский канал. Взрослая сестра Мэхони напишет ему записку в школу, а Джо Диллон скажет, что его брат болен. Мы пойдем до пристани, а потом переедем на пароме и дойдем до Пиджен-Хаус. Лео Диллон боялся, что мы встретим отца Батлера или еще кого-нибудь из колледжа; но Мэхони очень резонно спросил, с какой стати отец Батлер пойдет к Пиджен-Хаус. Мы успокоились, и я довел до конца первую часть нашего плана, собрав с остальных по шесть пенсов и показав им свою собственную монетку. Когда мы окончательно договорились накануне вечером, мы все были слегка возбуждены. Мы смеясь пожали друг другу руки, и Мэхони сказал:

– До завтра, друзья.

В ту ночь я спал плохо. Утром я первый пришел к мосту, потому что жил ближе всех. Я спрятал книги в высокой траве около мусорной ямы в конце сада, куда никто никогда не заходил, и побежал по берегу канала. Было мягкое солнечное утро первой недели июня. Я сидел на перилах моста, любуясь своими поношенными парусиновыми туфлями – я их с вечера старательно начистил мелом, – и наблюдал, как послушные лошади тащили полную конку деловых людей вверх по холму. Все ветки высоких деревьев по берегам канала оделись веселыми светло-зелеными листочками, и солнечный свет, косо пробиваясь сквозь них, падал на воду. Гранит моста постепенно нагревался, и я похлопывал по нему руками в такт мотиву, звучавшему у меня в голове. Мне было очень хорошо.

Я уже сидел там пять или десять минут, когда увидел серую курточку Мэхони. Он, улыбаясь, поднялся на холм и вскарабкался ко мне на мост. Пока мы ждали, он вынул рогатку, торчавшую у него из кармана, и показал усовершенствования, которые он в ней сделал. Я спросил, зачем он ее взял, а он ответил, что взял ее затем, чтобы популять в птиц. Мэхони знал много жаргонных словечек, а отца Батлера называл «старым козлом». Мы подождали еще с четверть часа, но Лео Диллон так и не появился. Наконец Мэхони соскочил с перил и сказал:

– Идем. Так я и знал, что Толстяк сдрейфит.

– А его шесть пенсов... – сказал я.

– А это с него штраф, – сказал Мэхони. – Нам-то что – только лучше: шиллинг да шесть пенсов вместо шиллинга.

Мы прошли по Норт-Стрэнд-роуд до химического завода, а оттуда свернули направо на улицу, ведущую к пристани. Как только мы вышли из людных мест, Мэхони принялся играть в индейцев. Он погнался за какими-то оборванными девчонками, размахивая своей незаряженной рогаткой, а когда двое оборванных мальчишек начали из рыцарских побуждений швырять в нас камнями, он предложил обстрелять их. Я возразил, что мальчишки слишком маленькие, и мы пошли дальше, а оборванцы кричали нам вдогонку: «Нехристи! Нехристи!» – думая, что мы протестанты, потому что Мэхони, у которого было смуглое лицо, носил на шапке серебряный значок какого-то крикетного клуба. Мы дошли до

Утюга и решили организовать осаду, но у нас ничего не получилось, потому что для этого нужно быть по крайней мере втроем. В отместку Лео Диллону мы говорили о том, как он сдрейфил, и старались угадать, какую отметку он получит на последнем уроке у мистера Райена.

Потом мы вышли к реке. Мы долго бродили по шумным улицам, окаймленным высокими каменными стенами, и часто останавливались, наблюдая за работой подъемных кранов и лебедек, и тогда на нас кричали ломовики, проезжавшие с тяжело нагруженными подводами. Был полдень, когда мы добрались до набережных: рабочие завтракали, и мы тоже купили себе два больших пирожка со смородиновым вареньем и сели поесть на железные трубы возле реки. Мы любовались зрелищем жизни Дублинского торгового порта – речные суда, о приближении которых издали сигнализировали завитки похожего на вату дыма, коричневая флотилия рыбацких судов за Рингсендом, большой белый парусник, разгружавшийся на противоположной стороне реки. Мэхони сказал, что было бы здорово удрать в море на каком-нибудь из этих больших судов, и даже я, глядя на высокие мачты, видел или воображал, что вижу, как на моих глазах облекаются в плоть те скудные познания по географии, которые я получил в школе. Школа и дом, казалось, отошли от нас бесконечно далеко, и мы чувствовали себя совсем свободными.

Заплатив за переправу, мы переплыли Лиффи на пароме в обществе двух портовых рабочих и маленького еврея с мешком. Мы были серьезны до торжественности, но один раз, когда наши взгляды встретились, мы расхохотались. Сойдя на берег, мы стали наблюдать за разгрузкой стройного трехмачтовика, который заметили еще с того берега. Какой-то человек, стоявший тут же, сказал, что это норвежское судно. Я прошел к корме и попытался разобрать надпись, но не смог, вернулся назад и стал разглядывать иностранных матросов: правда ли зеленые у них глаза, мне-то ведь говорили... Глаза у матросов были голубые, серые и даже черные. Единственный матрос, чьи глаза можно было бы назвать зелеными, был рослый мужчина, забавлявший толпу на пристани тем, что каждый раз, как падали доски, он весело кричал:

– Порядок! Порядок!

Скоро нам надоело смотреть, и мы тихонько побрели в Рингсенд. Становилось душно, в окнах бакалейных лавок выгорали на солнце заплесневелые пряники. Мы купили себе пряников и шоколада и быстро их съели, бродя по грязным улицам, где жили семьи рыбаков. Молочной мы не нашли, поэтому купили в

палатке по бутылке малинового сидра. Освежившись, Мэхони погнался по переулку за какой-то кошкой, но она унеслась от нас далеко в поле. Мы оба порядком устали и, когда вышли в поле, сейчас же направились к пологому откосу, за гребнем которого виднелась река Доддер.

Было слишком поздно, и мы слишком устали, чтобы думать о посещении Пиджен-Хаус. Нам нужно было вернуться домой к четверем, а то обнаружат наш побег. Мэхони с грустью смотрел на свою рогатку и повеселел только тогда, когда я предложил вернуться в город по железной дороге. Солнце спряталось за тучи, оставив нас с нашими унылыми мыслями и остатками завтрака.

В поле, кроме нас, никого не было. После того как несколько минут мы молча лежали на откосе, я увидел человека, приближавшегося к нам с дальнего края поля. Я лениво наблюдал за ним, пожевывая стебель травы, по которой гадают девочки. Он медленно шел вдоль откоса. Одна рука лежала у него на бедре, а в другой руке у него была тросточка, и он слегка постукивал ею по земле. Он был в поношенном зеленовато-черном костюме, а на голове у него была шляпа с высокой тульей, из тех, которые мы называли ночными горшками. Он показался мне старым, потому что усы у него были с проседью. Он прошел совсем близко, быстро взглянул на нас и пошел дальше. Мы следили за ним глазами и видели, что когда он отошел шагов на пятьдесят, он повернулся и пошел назад. Он шел по направлению к нам очень медленно, все время постукивая тростью по земле, так медленно, что я подумал, он ищет что-то в траве.

Дойдя до того места, где мы сидели, он поздоровался с нами. Мы ответили, и он опустился рядом с нами на откос, медленно и с большой осторожностью. Он начал говорить о погоде, сказал, что лето будет очень жаркое, и добавил, что климат изменился с тех пор, как он был мальчиком, а это было так давно. Он сказал, что счастливейшие годы в жизни человека – это, несомненно, школьные годы и что он отдал бы все на свете, лишь бы снова стать молодым. Когда он говорил это, нам было немного скучно, и мы молчали. Потом он начал говорить о школе и о книгах. Он спросил нас, читали ли мы стихи Томаса Мура и романы сэра Вальтера Скотта и лорда Булвер-Литтона. Я сделал вид, будто я читал все книги, которые он называл, так что под конец он сказал:

– Да, я вижу, что ты такой же книжный червь, как я. А вот он, – добавил он, показывая на Мэхони, который смотрел на нас широко открытыми глазами, – он не такой; этот силен по части игр.

Он сказал, что у него дома есть все сочинения сэра Вальтера Скотта и все сочинения лорда Литтона и что ему никогда не надоедает перечитывать их. «Разумеется, – сказал он, – у лорда Литтона есть книги, которые мальчикам нельзя читать». Мэхони спросил, почему мальчикам нельзя их читать; этот вопрос расстроил меня, потому что я боялся, как бы незнакомец не счел меня таким же глупым, как Мэхони. Однако незнакомец только улыбнулся. Я увидел, что у него желтые редкие зубы. Потом он спросил, у кого из нас больше подружек. Мэхони небрежно заметил, что у него три девочки. Незнакомец спросил, сколько подружек у меня. Я ответил: ни одной. Он не поверил мне и сказал, что он убежден, кто-то у меня есть. Я промолчал.

– Скажите, – дерзко сказал ему Мэхони, – а сколько у вас самого?

Незнакомец снова улыбнулся и сказал, что в нашем возрасте у него было множество подружек.

– У каждого мальчика, – сказал он, – бывает маленькая подружка.

Меня поразило подобное свободомыслие у человека в его возрасте. В глубине души я считал правильным то, что он говорит о мальчиках и подружках. Но мне было неприятно слышать эти слова из его уст, и я удивился, почему он два раза вздрогнул, словно чего-то испугавшись или внезапно почувствовав озноб. Он продолжал говорить, и я заметил, что у него хорошая речь. Он рассказывал о девочках, какие у них красивые мягкие волосы, и какие у них мягкие руки, и что не все девочки такие хорошие, какими они кажутся. Он сказал, что больше всего на свете он любит смотреть на красивую молодую девушку, на ее красивые белые руки и на ее шелковистые мягкие волосы. У меня было такое впечатление, что он повторяет фразы, которые он выучил наизусть, или что его ум, намагниченный его же собственными словами, медленно вращается по какой-то неподвижной орбите. Порой он говорил так, точно намекал на что-то всем известное, а порой понижал голос и говорил таинственно, точно рассказывал нам какой-то секрет и не хотел, чтобы это услышали другие. Он снова и снова повторял свои фразы, немного изменяя их и окутывая своим монотонным голосом. Слушая его, я продолжал смотреть вдоль откоса.

Прошло довольно много времени, и его монолог наконец прервался. Он медленно встал, говоря, что оставит нас на минутку или, вернее, на несколько минут; и, не меняя направления взгляда, я увидел, как он медленно пошел от нас к ближнему краю поля. Он ушел, мы продолжали молчать. После двух-трех



минут молчания Мэхони воскликнул:

– Ишь ты! Посмотри, что он делает!

Но поскольку я не ответил и не поднял глаз, Мэхони снова воскликнул:

– Ишь ты!.. Вот старый чудила!

– Если он спросит наши фамилии, – сказал я, – ты будешь Мэрфи, а я буду Смит.

Больше мы ничего друг другу не сказали. Я все еще раздумывал, уйти мне или остаться, когда незнакомец вернулся и снова сел подле нас. Едва он сел, как Мэхони, заметив сбежавшую от него кошку, вскочил на ноги и погнался за ней через поле. Мы с незнакомцем наблюдали за погоней. Кошка опять спаслась бегством, и Мэхони начал швырять камни через ограду, за которой она скрылась. Скоро это ему надоело, он стал бесцельно бродить взад и вперед по дальнему краю поля.

После недолгого молчания незнакомец заговорил со мной. Он сказал, что мой друг очень грубый мальчик, и спросил, часто ли его порют в школе. Я хотел было с негодованием ответить, что мы не из Национальной школы, где мальчиков, как он выражается, порют, но промолчал. Он начал говорить о телесных наказаниях для мальчиков. Его ум, снова как бы намагниченный его словами, казалось, медленно вращается вокруг нового центра. Он сказал, что таких мальчиков нужно пороть, и пороть как следует. Когда мальчик грубый и непослушный, ему может принести пользу лишь только одно – хорошая, основательная порка. Бить по рукам или драть за уши – от этого пользы мало; что ему необходимо, так это хорошая, горячая порка. Меня удивило такое отношение, и я невольно поднял глаза на его лицо. Я встретил взгляд бутылочно-зеленых глаз, смотревших на меня из-под дергающегося лба. Я снова отвел глаза в сторону.

Незнакомец продолжал свой монолог. Казалось, он забыл свое недавнее свободомыслие. Он сказал, что, если бы он когда-нибудь узнал, что мальчик разговаривает с девочками или что у него есть подружка, он стал бы его пороть и пороть, и это научило бы этого мальчика не разговаривать с девочками. А если у мальчика есть подружка и он это скрывает, тогда он задаст этому мальчику такую порку, какой не видел ни один мальчик. Славная была бы порка! Он описывал, как стал бы пороть такого мальчика, точно раскрывал передо мной

какую-то запутанную тайну. Это, сказал он, было бы для него самым большим удовольствием на свете; и его монотонный голос, постепенно раскрывавший передо мной эту тайну, стал почти нежным, точно он упрашивал меня понять его.

Я ждал до тех пор, пока его монолог не прекратился. Тогда я порывисто встал на ноги. Чтобы не выдать своего волнения, я нарочно провозился несколько секунд с башмаками, завязывая шнурки, и только после этого, сказав, что мне нужно идти, пожелал ему всего хорошего. Я поднимался по откосу спокойно, но сердце у меня колотилось от страха, что он схватит меня за ноги. Поднявшись, я обернулся и, не глядя на него, громко закричал через поле:

– Мэрфи!

В моем голосе звучала напускная храбрость, и мне было стыдно своей мелкой хитрости. Мне пришлось крикнуть еще раз, и только тогда Мэхони заметил меня и откликнулся на мой зов. Как билось у меня сердце, когда он бежал мне навстречу через поле! Он бежал так, словно спешил мне на помощь. И мне было стыдно, потому что в глубине души я всегда немного презирал его.

«Аравия»[4 - Перевод И. Дорониной.]

Заканчивавшаяся тупиком Норт-Ричмонд-стрит была тихой улицей, если не считать того часа, когда школа Братьев-христиан[5 - Религиозная община католической церкви.] отпускала мальчиков по окончании уроков. В слепом конце улицы, посреди квадратного участка земли, в отдалении, стоял пустовавший двухэтажный дом. Остальные дома, в осознании добропорядочности протекавшей в них жизни, глядели друг на друга невозмутимыми коричневыми фасадами.

Прежний жилец нашего дома, священник, умер в дальней гостиной. Воздух во всех долго остававшихся закрытыми комнатах был спертый, а по всей кладовке за кухней валялись старые ненужные бумаги. Среди них я отыскал несколько книг в мягких обложках, с отсыревшими и загнущимися страницами: «Аббата» Вальтера Скотта, «Благочестивого причастника»[6 - Произведение известного английского католического писателя Пацификуса Бейкера (1695–1774).] и

«Записки Видока»[7 - Эжен Франсуа Видок (1775–1857) – французский преступник, ставший впоследствии одним из первых частных детективов; автор нескольких книг, в том числе «Записок Видока, начальника Парижской тайной полиции»]. Последняя нравилась мне больше всех, потому что бумага в ней была желтой. В центре запущенного сада позади дома росла яблоня, а вокруг – давно не стриженные кусты, под одним из которых я нашел заржавленный велосипедный насос бывшего жильца. Священнослужитель был человеком благочестивым и завещал все свои деньги благотворительным учреждениям, а всю свою мебель – сестре.

По наступлении коротких зимних дней сумерки опускались еще до того, как мы успевали закончить обед. Когда мы встречались на улице, дома? уже погружались в темноту. Лоскут неба над нами имел фиолетовый цвет, непрерывно сгущавшийся, и от уличных фонарей к нему восходил тусклый свет. Морозный воздух больно жалил, но мы играли до тех пор, пока тело не начинало гореть от холода. В тишине улицы эхо разносило наши крики. Сюжет игры вел нас через грязные темные переулки позади домов, где мы бросали вызов диким племенам из окрестных лачуг, к задним калиткам темных мокрых огородов, от которых тянуло неприятным гнилым душком, и к темным вонючим конюшням, где какой-нибудь конюх обычно чистил лошадь, чесал ей гриву или возился со сбруей, которая музыкально позвякивала в его руках. Когда мы возвращались на улицу, свет из кухонных окон уже местами рассеивал темноту. Если из-за угла появлялся мой дядя, мы прятались в тени, пока не убеждались, что он благополучно вошел в дом. Или если сестра Мэнгана выходила на крыльцо, чтобы позвать его пить чай, мы из своего укрытия наблюдали, как она оглядывает улицу в один, потом в другой конец, и ждали: уйдет в дом или останется. Если она оставалась, мы выходили из тени и смиренно приближались к крыльцу. Она нас ждала, свет, падавший из полуоткрытой двери, очерчивал контур ее фигуры. Прежде чем повиноваться, брат всегда поддразнивал ее, а я стоял возле перил и смотрел на нее. Когда она двигалась, платье на ней колыхалось, и мягкий жгут заплетенных волос на спине раскачивался из стороны в сторону.

Каждое утро я ложился на пол в передней гостиной и следил за ее дверью. Между опущенными жалюзи и оконной рамой оставалась щель не более дюйма шириной, так что снаружи я не был виден. Когда она выходила на порог, сердце у меня подпрыгивало. Я бросался в переднюю, хватал учебники и шел следом за ней, не упуская из виду ее коричневую фигурку. Когда мы приближались к месту, где наши пути расходились, я ускорял шаг и проходил мимо. И так утро за утром. Я никогда не разговаривал с ней, если не считать нескольких случайно

оброненных слов, и, тем не менее, ее имя звучало для меня как зов, откликавшийся во всей моей глупо бурлившей крови.

Ее образ сопровождал меня даже в местах, решительно несовместимых с романтикой. Субботними вечерами, когда моя тетья отправлялась за покупками, я должен был носить за ней сумки. Мы шли по шумным улицам, забитым пьяными мужчинами, торгующимися женщинами и оглашаемым руганью трудяг, пронзительными, назойливыми криками мальчишек-зазывал, стоявших на страже бочек со свинными щечками, и гнусавым завыванием уличных певцов, исполнявших балладу об О'Донаване Росссе[8 - Иеремия О'Донаван (по месту рождения прозванный Россой, 1831-1915) – деятель ирландского национально-освободительного движения, символ мужества и отваги.] или какую-нибудь народную песню о тяготах родной земли. Для меня все эти шумы сливались в единое ощущение жизни: я воображал себя бесстрашно несущим свою чашу сквозь скопище недругов. Порой имя ее срывалось с моих губ, вплетенное в молитву или гимн, смысла которых я сам не понимал. Зачастую глаза мои наполнялись слезами (сам не знаю почему), а иногда грудь затоплял поток, изливавшийся из глубины сердца. Я не задумывался о будущем. Не знал, заговорю я с ней когда-нибудь или нет и если заговорю, то как смогу выразить свое невнятное обожание. Но собственное тело представлялось мне арфой, а ее слова и жесты – пальцами, перебирающими струны.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Перевод М. Богословской-Бобровой.

2

Да покоится в мире (лат.).

3

Перевод И. Романовича.

4

Перевод И. Дорониной.

5

Религиозная община католической церкви.

6

Произведение известного английского католического писателя Пацификуса Бейкера (1695–1774).

7

Эжен Франсуа Видок (1775–1857) – французский преступник, ставший впоследствии одним из первых частных детективов; автор нескольких книг, в том числе «Записок Видока, начальника Парижской тайной полиции».

8

Иеремия О’Донаван (по месту рождения прозванный Россой, 1831–1915) – деятель ирландского национально-освободительного движения, символ мужества и отваги.

----

Купить: <https://tellnovel.com/dzheyms-dzhoys/dublincy>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)